

Глава 28. Последнее увлечение

Вспоминая первые годы жизни в Красноярске, удивляюсь количеству событий и переживаний обрушившихся на меня. Трудности вхождения в новый коллектив, обилие проблем, ошибок, неудач. Все это надломило меня и привело к обострению старых, приобретенных еще в лагере недугов. В завершение всего весной 1976 года подхватил воспаление легких и попал в больницу. Палата на втором этаже лечкомиссии, в ней помимо меня еще четыре человека. Появилось время все спокойно обдумать, оценить, а, возможно, и принять решение. Неужели я совершил ошибку, остановив свой выбор на Красноярске. Ведь все было просчитано, взвешенно. Плюсы, минусы. Плюсов значительно больше чем минусов. И всё же всё так плохо. И почему даже Юра не понимает меня? А дома! Нинины головные боли и сердечные приступы только усилились. Со стороны врачей внимания меньше чем в Енисейске. Да и с Ромой происходит что-то неладное. Никак не может поправиться. К каким только врачам я его не водил, чем не лечил. Ни юг, ни особый режим усиленного питания не помогали. Всё такой же худой, кожа да кости. А вообще-то он молодец, не замыкается на своих проблемах. Как-то сложится его жизнь.

А теперь и у меня эти боли в желудке, не рак ли? Подозрения подогреваются бесконечными разговорами моих соседей по палате об этой страшной болезни. А тут еще как на грех одна из санитарок рассказала о муках, в которых умирал от рака прямой кишки молодой человек, лежавший как раз на моей койке. Смогу ли я достойно вынести боли, возможно, уготованные мне судьбой, и, что будет с Ромой, Наташей, Ниной. Сможет ли Валера, как старший в семье, помочь им? Особенно тяжело на душе было по вечерам, когда, сняв свои халаты, расходились по домам врачи и переставали суетиться сестры.

Среди больных нашей палаты хирург городской больницы Альберт Иванович Крыжановский, очень общительный, веселый и энергичный мужчина. Около него постоянно крутились женщины, о чем-то просили, за что-то благодарили. По вечерам, после ухода врачей, в компании молодых женщин играл в карты и домино. Как-то перед сном, решив прервать разговоры на медицинские темы, кто-то из больных предложил всем по очереди рассказы-

вать анекдоты. Я анекдотов не знал, рассказывать их не умел, и поэтому, когда очередь дошла до меня, предложил прочесть стихотворение. Так начались наши «литературные вечера». О них своим партнершам по играм рассказал Альберт Иванович, и они попросили меня почитать им стихи Ахматовой и в те годы еще мало известного широким кругам Гумилева. Так состоялось мое знакомство со Сталиной (ударение на и), сорокалетней женщиной, женой известного в городе партийного и хозяйственного деятеля. Сама Сталина работала старшим экономистом в какой-то строительной организации на самом краю города. В больнице она лежала с обострением хронической пневмонии, отягощенной астматическими проявлениями и, несмотря на это, много курила.

Не отличалась Сталина красотой и не заботилась о своей внешности. Волосы на голове завязаны обыкновенными тесемками в две коротенькие смешные косички. Несколько припухшие губы почти никогда не накрашены, глаза не подведены. В поведении никакой позы, никакого кокетства. Обращали на себя внимание разве что внимательные и чуть насмешливые глаза, и грудной глуховатый голос.

Наши интересы сошлись на литературе. Она знала на память много лирических стихов и со вкусом их читала. С увлечением рассказывала о своей библиотеке и прочитанных книгах. Диапазон её интересов удивил меня. Необычными казались и её взгляды, отношение к жизни и той партийной элите, к которой принадлежал её муж. В них странным образом сочетались стремление к комфорту и тоска по патриархальной старине. Разговоры с ней напомнили виденную когда-то из окна остановившегося поезда и запавшую в душу картину: пшеничное поле, косари, проселочная дорога, с движущимся по ней обозом лошадей, а над всем этим провода высоковольтной линии и огромные ажурные опоры с распростертыми над полем перекрестиями и гирляндами блестящих на солнце изоляторов. Это странное сочетание патриархальной старины и индустриального настоящего запомнилось, и теперь, слушая ее неторопливый рассказ, я невольно вспомнил о виденной картине.

Она с такой любовью рассказывала о своем родном городке Валуйки, затерявшемся где-то в степях среднерусской возвышенности, утопающих в зелени домиках, уютных двориках и вишневых садиках, что трудно было представить себе её, живущей в

современном элитном доме, и чувствуя себя в нем уютно и комфортно. Удивили и её рассказы об обычаях и нравах, царящих в среде партийной номенклатуры, Никакого преклонения перед бывшими и настоящими вождями, никакого умиления от красного цвета знамен и скатертей на столах президиума, никакого трепета при звуках интернационала. Её оценки экономического положения страны казались мне вполне трезвыми, и во многом совпадающими с моими.

От вечера к вечеру наши встречи на лестничной площадке, где стоял доступный всем больным городской телефон, и собирались любители покурить, становились все продолжительнее. Поговорив с домашними и поделившись семейными заботами, в зависимости от обстоятельств, обращались либо к воспоминаниям, либо к обсуждению прочитанных книг и политических событий, либо к любимой ею теме человеческих отношений.

Теперь все случившееся тогда со мной кажется таким странным и трагичным. Но оно случилось, и этого теперь не вычеркнешь из моей жизни. Я медленно, но неуклонно терял голову. Ночью, лежа на больничной койке, терзался мыслями о Нине, детях, ощущая себя предателем и подлецом. Но утром, просыпаясь, вспоминал, прежде всего, о Сталине и неудержимая сила влекла меня на лестничную площадку в надежде увидеть её там.

Примерно через неделю после выписки из больницы Сталина позвонила и пригласила меня к себе домой, посмотреть их домашнюю библиотеку. Несмотря на твердое решение прекратить знакомство, всё же пошёл. Квартира показалась огромной. Шикарный кабинет, совмещённый с библиотекой. Тяжелые тёмные шторы, на полу пушистый ковер, удобные кожаные кресла и множество книг. Все они в шкафах темного дерева, под стеклом. В основном новые, в дорогих переплетах, которые в те годы можно было достать только по очень большому благу.

Хозяйка в длинном платье, с небрежно зачесанными волосами. Чайный сервировочный столик на колесиках, модный атрибут элитных семей того времени. Черный кофе со сливками, домашнее печенье, конфеты, тихая непринужденная беседа. Я весь напряжен. Плохо одетый, плохо выбритый, в хозяйских не по размеру тапочках и, возможно дырявых, носках, ощущаю себя бедным родственником, попавшим на званный обед.

Она же, не замечая моего состояния, или делая вид, что его не замечает, рассказывает о своей опостылевшей ей жизни, постоянных застолиях, глупых, раздражающих разговорах, об интригах и подсиживании, о том, что хороших книг никто не читает. И вновь возникает образ босоногой девочки, играющей с мальчишками на заросших травой валуйских улочках.

Но стоит ей небрежной походкой подойти к бару и включить электрокамин как навеянный её рассказом образ распадается. Предо мной пресыщенная достатком и удовольствиями молодая женщина, по прихоти которой я сижу в этом кресле и, напрягаясь изо всех сил, стараюсь казаться остроумным и глубоким.

Пора уходить. Повод есть, в четыре часа Совет факультета, и мне на нём докладывать. Преодолевая неожиданно нахлынувшие на меня чувства и боясь передумать, смущенно прощаюсь.

Морозный воздух улицы отрезвляет меня. Что я делаю, в какую чуждую для меня жизнь вторгаюсь. Всё увиденное и услышанное рождает во мне протест: сытая, обеспеченная и беззаботная жизнь. Шофёр, привозящий продукты, которых мне никогда не достать, пошивочные ателье, очередь на приём в которые для обычных людей тянется месяцами, курорты и санатории. Раздражает даже то, что в шкафах не увидел ни одной старой, зачитанной до дыр книги. Во сто крат милее мне наша маленькая, пусть и бедно обставленная квартирка, старенький телевизор и бесконечные полки с потрёпанными, но столь любимыми мною книгами.

Наше знакомство и наши встречи не только противоречили всем моим принципам и представлениям о нравственности, но были и просто опасны. И всё же они продолжались. Не очень часто, в основном днем, иногда у неё на квартире, куда я заходил, чтобы взять или вернуть очередную книгу, но чаще в деканате, куда она иногда забегала после возвращения с работы. Все было в рамках приличия, и я уверял себя, что ничего особого в наших встречах нет, просто в лице Сталины я нашел интересного и несколько парадоксально мыслящего собеседника. Уверял себя, что по настоящему люблю только Нину. И это было правдой, она была для меня самым родным и близким человеком. С ней я мог расслабиться, быть самим собою, пожаловаться на усталость, рассказать о неприятностях на работе, рассчитывая на понима-

ние и сочувствие. Иногда ловил себя на желании рассказать ей о Сталине и моих встречах с ней.

И все же чувствовал, что шаг за шагом теряю над собою власть и падаю в пучину. Любовь к Нине, интерес к Сталине, боль и сострадание, раскаяние и стыд. Сколько раз по вечерам принимал решение прекратить эту мучительную и в то же время желанную связь. Но стоило прозвенеть телефону и услышать в трубке её глуховатый, грудной голос, как, забывая о принятом решении, шел на её зов.

Наступила весна. В моих отношениях со Сталиной произошли существенные изменения. Наши встречи, по-прежнему не очень частые, стали более обыденными, домашними. Теперь, когда я заходил к ней, она принимала меня не в библиотеке, а на кухне, где, по её словам чувствовала себя лучше всего. Вместо сервировочного столика, кухонный стол, вместо кофейного сервиза, обычные чашки. Вместо изысканных деликатесов, чай с пирожками. Но самое главное, изменилось содержание наших разговоров. Постепенно они утратили свой возвышенный характер. Мы всё реже говорили о книгах, о политике и экономических проблемах страны. Почти перестали читать стихи. На первый план вышли повседневные проблемы: дела на работе, здоровье детей, их успехи в учебе, поведение, реже и осторожнее о других членах семьи. Изменилась и лексика. Речь Сталины стала, как бы это сказать, более раскованной, просторечной. Она теперь без особого стеснения делилась бытовыми подробностями своей жизни, рассказывала о своих бывших поклонниках, и, даже об интимных связях с некоторыми из них, бессознательно, а возможно и умышленно, разжигая во мне ревность.

Помню как однажды, зайдя к Сталине, застал её за сборами на очередной банкет. Модно причёсанная, в длинном, облегающем платье, она, делаясь со мною подробностями предстоящего мероприятия, как бы невзначай сказала, что там будет её близкий в прошлом друг. Мучимый ревностью, рисуя в своем воображении Сталину в объятиях «близкого в прошлом друга» поехал я домой, к своей Ниночке, такой родной и близкой мне. В своем простеньком платьице, так искусно сшитом ей Ольгой, она казалась мне ничуть не хуже Сталины в её дорогом наряде.

Что же тогда влекло меня к Сталине? Почему, умирая от стыда, тайком бегал к ней? Проще всего сказать, что я любил её. Но

это будет простой, подменной понятий. К тому же я любил и Нину, любил искренно и глубоко. Конечно, характер этих чувств был различным. Сталина была моложе, она была современной, раскованней. Это были её плюсы, но и минусы тоже. В глубине души я ей не верил. Не верил в искренность чувств ко мне. Более того, я был уверен, что если она и увлеклась мною, то это ненадолго. Нина же была верным, бескорыстным и преданным другом. Она без сомнения любила меня, и я любил ее, но что-то в последние годы изменилось в этой любви. Я перестал воспринимать Нину как женщину, противостоящую мне, как таинственную незнакомку. Нет, что-то здесь не так. И снова я напускаю туман, пытаюсь оправдаться. Наверно всё гораздо проще: моя нравственность пала под напором мужской полигамии.

Нина все еще ничего не знала и ни о чем не догадывалась. Приходя с работы, я, как и прежде, был внимателен и заботлив, помогал детям и Нине по хозяйству. Более того, моё отношение к ней было в тот период даже более нежным и заботливым, чем до встречи со Сталиной. Некоторые колебания в настроении, скрыть которые мне не удавалось, Нина могла относить на счет проблем, возникающих на работе. Все это делало мое поведение не просто двусмысленным, но даже подлым. И хотя пока что не было ни истерик, ни слез, ни тягостных объяснений, чувствовал я себя прескверно. Временами хотелось, бросив все, уйти в тайгу и не возвращаться.

С наступлением лета и приближением отпуска встал вопрос о поездке на юг. Нина против моей поездки не возражала, более того настаивала на ней. Но сама ехать отказалась. Считала, что должна помочь Зине растить Олечку. У Наташи пионерская практика, Рома недавно побывал в Ленинграде. Я же колебался. Однако когда Сталине муж достал путевку в Форосский санаторий на июль-август, появился соблазн поехать на юг вместе. Я, конечно, понимал, что это предательство по отношению к Нине. Предательство, которое потом простить себе вряд ли смогу, но устоять не смог. Мы договорились ехать в Форос вместе: Сталина в санаторий, в котором лечились или просто отдыхали многие партийные деятели и члены их семей, а я дикарем. Теперь, как мне казалось, все мысли, и действия Сталины сосредоточились на этой поездке. Я, привыкший к нашим дикарским формам отдыха, когда на юг мы брали самую обычную походную одежду и инвентарь, с

удивлением и некоторым разочарованием наблюдал за беготней Сталины по разным ателье, в которых ей шили вечерние платья и какую-то другую курортную атрибутику.

Меня же мучили противоречивые чувства. С одной стороны я с замиранием сердца предвкушал возможность целыми днями быть подле Сталины, а с другой – чувство было таким, как будто бы я навсегда покидал этот обжитый мною мир и самых близких мне людей. Временами казалось, что я схожу с ума. Спасало то, что в жизнь моей были и другие заботы, и интересы: работа, требовавшая полной отдачи сил, дети, оканчивавшие институт, и их трудоустройство, Нинино здоровье. Здесь вы мои читатели, дети, внуки и правнуки с недоверием покачаете головой и обвините меня в фарисействе, но я действительно был не на шутку обеспокоен её здоровьем и обивал пороги врачебных кабинетов, добиваясь хорошего и внимательного к ней отношения и эффективного лечения. Я действительно её любил, любил своих детей, любил Ольгу Федотовну. И эти чувства странным образом уживались во мне с увлечением Сталиной. В те дни я склонен был обвинять мораль и даже саму жизнь, которые, как мне казалось, ставили передо мной такие неразрешимые проблемы.

Летом, перед самым моим отъездом в Форос, вновь приехала Эрночка навестить нас и своего внука Вовочку. Готовя меня к поездке на юг, Нина купила модный в те годы серый в рубчик кримпленовый плащ, который, как она уверяла, мне очень шёл.

В Москву со Сталиной летели одним самолетом, о чем никто кроме нас, разумеется, не знал. От Москвы до Ростова ехали поездом. В Ростове Сталина остановилась в какой-то партийной гостинице, а я, разумеется, у Ляли. Целыми днями я как экскурсовод водил её по улицам любимого мною города, в котором Сталина раньше никогда не бывала. Водил по многочисленным паркам, аллеям, подземным переходам, украшенным художественной мозаикой, книжным магазинам.

Из всех событий той, проведенной в Ростове недели, особенно запомнилось посещение ресторана. Зачем это потребовалось Сталине, не знаю. После долгих препирательств я согласился. Пошли в облюбованный ею ресторан, расположенный в здании гостиницы «Ростов». Мероприятие для меня крайне неприятное. В подобных ресторанах бывал не часто, тем более с молодыми спутницами. Не знал как вести себя, чтобы не показаться смеш-

ным. Особенно беспокоила одежда. Под модным плащом, далеко не первой свежести костюм, который Ниночка весь вечер перед моим отъездом чистила щеткой. Особенно встревожился, когда увидел Сталину: молодая, красивая в длинном вечернем платье под цвет её темно-карих глаз с пунцово-красной розой в руке, она смотрелась вызывающе эффектно. Мне стало совсем не по себе и захотелось скрыться подальше от людских глаз. Но пришлось идти.

Вечер, улица Энгельса, гостиница «Ростов», на боковой стене которой огромное панно с портретом Брежнева, подсвечиваемое прожекторами. Многочисленные фонари отражаются призрачным светом в асфальте, смоченном недавно прошедшим дождем. Вереница машин, красные сигнальные огни. Прохладно. Вот, наконец, и массивная, под стеклом, дверь ресторана. Рядом несколько молодых людей, ждущих своей очереди. Появляется надежда, что в ресторан мы не попадем. Но надежда эта тщетна. Сталина подходит к двери и улыбается стоящему за нею швейцару. И о чудо, швейцар вежливо приоткрывает дверь, и мы оказываемся в гардеробной. И никто из стоявших за дверью молодых людей не обругал нас. Лихорадочно соображаю, как и сколько надо заплатить швейцару. Делаю это неловко, проклиная в душе подобные услуги. Сдав гардеробщику плащ, остаюсь в своем выдавшем вида костюме. Мраморная, покрытая красной дорожкой лестница. Поднимаясь по ней, пытаюсь идти на два шага позади Сталины, чтобы её не компрометировать своим возрастом и костюмом. Повернувшись и удивленно посмотрев на меня, она останавливается и берет меня, не под руку, с чем я бы еще смирился, а за руку. И таким вот глупейшим образом, как школьники входим в зал. Официант, сделав понимающее лицо, сажает за отдельный столик, и я прикидываю, сколько придется платить за эту очередную «услугу». Какие-то холёные, молодящиеся мужчины, сидящие за соседним столиком, то и дело посматривают в нашу сторону, и, как мне кажется, сочувственно улыбаются Сталине. Чувствую себя в положении Воробьянинова из «Двенадцати стульев». В завершение танцы, на которые её стали приглашать соседи, испрашивая моего согласия. После трех-четырёх таких приглашений, поняв, что я на грани срыва, или по какой то другой неизвестной мне причине, Сталина стала изображать заботливую хозяйку, что окончательно вывело меня из себя. С тоской вспоми-

нал наше с Ниной посещение ресторана «Огни Енисея». Как легко и просто мне было тогда, как смеялись потом, вспоминая обращенный к официанту наивный вопрос о назначении тарелок с водой, поданных к «Цыплятам табака».

Провожая в тот вечер Сталину в гостиницу, молчал, вспоминая каждое свое неловкое движение, каждое неудачно сказанное слово. Сталина удивлялась, или только делала вид, что удивляется:

- Что случилось, почему ты не в духе? – спросила она.

- Неужели ты не видела, что я сегодня оказался в положении Воробьянинова?

- Из «Двенадцати стульев», с Шурочкой? – вопросом на вопрос ответила она, и засмеялась.

- С Шурочкой! И что здесь смешного, не понимаю. Если так всю жизнь, то можно сойти с ума.

- Робушка, ты же сам виноват, сам себя поставил в такое положение. Разве не видел, сколько подобных нам пар было в зале. И все веселились. А ты весь вечер комплексовал. Разве так можно. Радовался бы, что твоя спутница еще пользуется успехом.

- Так вот оно в чем дело. Тебе нужен успех. А до меня тебе и дела нет, – выпалил я возмущенно.

- Ну что ты сердишься. Была бы я твоей женой, всё было бы иначе. Мы бы сидели дома и ..., – сделав паузу и засмеявшись, неожиданно закончила – читали стихи Блока. Ты же их так любишь и хорошо читаешь. Знаешь, чем злиться, прочти мне что ни будь, например, «В ресторане».

- Ты что, смеёшься, не понимаешь, что пришлось мне пережить в этом дурацком ресторане?

Сталина ничего не ответила. Молча, спустились мы к набережной, молча постояли у парапета, глядя на темную, маслянистую поверхность Дона. Чувствуя, что затянувшееся молчание принимает угрожающую форму, и Сталина может повернуться и уйти, осторожно, чтобы не доводить дело до разрыва, нащупывая слова, пытаюсь объяснить ей, что именно так возмутило и унизило меня. Но осторожность не помогла. Разговор быстро обострился. Я обвинял Сталину в легком отношении к жизни, она меня - в том, что не решаюсь рассказать Нине о наших отношениях и уйти из семьи.

Такой поворот в разговоре ошеломил меня. Я понял, что моё увлечение, моя любовь требует жертв, что на алтарь любви я должен бросить семью: Нину, Наташу, Рому, Валеру и даже Ольгу Федотовну. Должен отказаться от привычного образа жизни. В глубине души я понимал, что пойти на это никогда не смогу. Но и сказать об этом Сталине тоже не мог. Слишком влекло меня к ней, слишком большое место в моей жизни она заняла.

На следующий день, так и не решив мучившую нас проблему, самолетом вылетели в Симферополь, а оттуда автобусом доехали до Фороса, самой южной, обдуваемой постоянными ветрами оконечности Крымского полуострова.

Прекрасный санаторный парк с обилием тенистых алей, прудов и скульптур. В глубине парка санаторий, в котором и устроилась Сталина. Мне пришлось искать жильё в посёлке, совсем маленьком, в котором не было ни общественной столовой, ни рынка. С трудом не без помощи Сталины удалось все же найти комнату, в которой кроме меня ночевали еще двое мужчин, кажется украинцев. Во всяком случае, они по утрам на хозяйской кухне жарили сало, заливая его яйцами. Первые дни я питался всухомятку, потом сердобольная хозяйка согласилась за дополнительную плату кормить меня обедом.

Со Сталиной мы встречались на пляже, куда она приносила фрукты с санаторного стола. Я их категорически отвергал, и это ее злило. Пляж в небольшой бухте, совсем маленький, усыпанный галькой. Любимого мною песка нет совсем. Вода прохладная, к тому же волны пригоняют водоросли и тину. Как непохоже все это на то, к чему я привык на Кавказе.

Сталине наверное было скучно со мной. Во всяком случае, вскоре по её инициативе мы оказались в компании нескольких мужчин неопределенного возраста и двух совсем молодых женщин. Все партийные работники, прибывшие в Форос незадолго до нашего приезда. Они, то играли в карты, рассказывая анекдоты, то вертели бутылку, определяя объект целования. Я участия в этих играх не принимал и выглядел, наверное, довольно глупо. Иногда совершали прогулки по окрестностям Фороса, то и дело натываясь на различные запретные зоны. В сухие, нежаркие дни поднимались в горы. Они были не высокими, но достаточно крутыми, так, что нам при подъеме приходилось цепляться за ветви

и корни растущих по склону деревьев. Стараясь обогнать других, я быстро истрепал свои туфли.

В поселке было небольшое почтовое отделение, откуда я по приезду в Форос послал домой телеграмму и куда просил Нину при необходимости посылать корреспонденцию до востребования. Так мы поступали каждый раз, когда ездили на юг. Необычным было то, что, отправив телеграмму, я замолчал: не писал писем, не звонил по телефону. А ведь обычно, куда бы я ни ездил, как минимум два три раза в неделю звонил домой. Естественно, что это встревожило Нину, которая решила, что я заболел и лежу в больнице. Ближе всех к истине была Эрночка, почти все это время жившая у нас в Красноярске и помогавшая как могла Нине. В своем письме, которое я получил ещё в Форосе, она писала:

Дорогой Робочка, милый мой братишка!

Где ты затерялся, родной? Сколько догадок, предположений, беспокойства ты доставил всем нам своим упорным молчанием.

В конце концов, Ниночка решила, что ты болеешь и лежишь в больнице.... Сколько было слез нервозности! Дорогой мой, прости мне то, что я сейчас напишу! Я пишу эти слова на правах старшей, почти матери. Родной мой, любящих тебя людей никогда не забывай, их не так много. Я знаю, ты человек одержимый: за работой и любимым делом забываешь всех и всё. Но не забывай «Die Stunde kommt, die Stunde naht, wo du an Grabem stehst und klagst» (Час придет, час близится, когда, рыдая, у гроба ты будешь стоять – Р.М.). Ты же знаешь, что любящие тебя люди жаждут общения с тобой, тоскуют по тебе, ждут хоть какой-нибудь весточки от тебя. Ибо, какая же цена чувству, которое не подкрепляется делом или словом? Как в него верить?

В первый же день, когда я приехала, я поняла, что что-то ушло, что-то сильно изменилось в твоих с Ниной отношениях. Знаешь, как это грустно. Делаю скидку на твою усталость, занятость, и на годы и возраст тоже, но надо понять и её. Она живет своей любовью к тебе, воспоминаниями о вашей прежней жизни. И чем светлее и прекраснее прошлое, тем мрачнее ей кажется настоящее. Дорогой мой, что нужно женщине, способной сохранить свое чувство до старости? Уверяю тебя – немного внимания. Я люблю Нину за её любовь к тебе, мне жаль

её, так как она очень одинока и больна. Дорогой мой Робочка, найди в себе силы, заставь себя быть более внимательным к ней! Неужели так трудно написать хоть открыточку? (Я тоже переживала, беспокоилась и ругала тебя!) Так хочется верить в тебя до конца, в твоё благородство, доброту и честность. Ведь надо только заставить себя сесть за стол, взять бумагу, ручку и написать Нине, Ляле и мне, конечно. Никто из нас не ждёт от тебя сочинения, а только несколько слов, подтверждающих твою память и внимание. Нет времени? – Неправда, нет желания!

Прости мне всё, что я написала. И если ты будешь молчать, я подумаю, что ты обиделся на мои нравоучения. А это будет очень тяжело, так как я люблю тебя!

Очень я рада, что пожила в вашей семье, узнала ближе всех её членов. Было мне хорошо у вас от всеобщей доброты ко мне и Вове. Спасибо всем вам, родные!

Робочка, милый, очень тебя прошу: не молчи! Напиши доброе письмо Нине, успокой её. Нашли мы на карте Форос, чудесное должно быть место. Горсты там?

Желаю тебе отлично отдохнуть.

Целую тебя крепко, твоя Эрна.

Тяжело было читать это письмо, еще тяжелее писать ответ. Ведь Эрночка всегда была для меня наивысшим авторитетом и верховным судьей, и любил я её, мою старшую сестренку, беззаветно. Признаться, что обманываю Нину не смог, и письмо получилось невнятным и фальшивым. Даже Нине писать было проще.

Но вернусь к Форосу. По вечерам мы ходили на танцы. Сталина пару раз привлекала к ним меня и даже уверяла, что у нас это неплохо получается. Но я-то знал, что танцор из меня никакой и предпочитал сидеть на скамейке «запасных», наблюдая за тем, как молодые и не очень молодые холеные мужчины кружат её в танце. Она в своих модных платьях, аккуратной причёске, слегка подкрашенная была эффектна, и в партнерах у нее недостатка не было.

Меня же терзали ревность и угрызения совести. В борьбе с этими чувствами не замечал окружающей красоты. А посмотреть было на что. Скалистые берега, с рокотом разбивающиеся о них тяжелые, зеленоватые волны, дурманящий запах водорослей, тенистые аллеи старинного парка, вечерами пламенеющий закат.

Сталина пыталась успокоить, уверяла в своих чувствах. Я был мрачен, давал почувствовать, что не верю ей. Понимал, что становлюсь ей в тягость, и, все же, ходил по пятам. Ходил и ненавидел себя за это.

Как-то в полумраке аллеи около заросшего ряской и водяными лилиями водоема прочел, специально для этого случая заученное стихотворение Есенина:

Пой же, пой! На проклятой гитаре
Пальцы пляшут твои в полукруг.
Захлебнуться бы в этом угаре
Мой последний единственный друг.
 Не смотри на её запястья,
 И с плечей её льющийся шелк,
 Я искал в этой женщине счастье,
 А нечаянно гибель нашел.

и т.д.

Слова «Я искал в этой женщине счастье, а нечаянно гибель нашел», произнесенные мною с особым нажимом, возмутили её, и она резко повернувшись, ушла к себе в санаторий. Постояв некоторое время над зелёным, пахнущим тиной водоемом, расстроенный и освобожденный ушел я в поселок. На другой день, не повидав Сталину, уехал домой. Я не был в обиде на неё, понимал, что вел себя глупо, не по-мужски. И хотя я любил и страстно желал встреч с ней, другого выхода у меня не было. Участь Тургенева, многие годы следовавшего за Виордо, пугала меня, и я решил обрубить сковывавшие меня путы.

После возвращения Сталины в Красноярск наши встречи, вопреки моим твердым намерениям, возобновились. Правда, встречались мы теперь все реже, в основном в центральном парке, иногда у меня в деканате, куда она, возвращаясь с работы, как и прежде, заходила ненадолго. Но большой радости эти встречи не приносили. Мы легко ссорились и трудно мирились. Сталина обвиняла меня в том, что я не решаюсь уйти из семьи, я её в том, что она слишком легко относится к жизни, что у неё много поклонников, которым она слишком многое позволяет. Становилось очевидным, что у наших отношений нет перспектив, нет будущего. Жить все время «на цыпочках», стараясь преодолеть разрыв в возрасте, и быть остроумным и глубоким, а, главное, предав своё прошлое, Нину и семью, я не мог.

Осенью 1976 года Нину положили в больницу. Кто-то из медперсонала рассказал ей о наших со Сталиной отношениях. Я не смог ничего отрицать. Ложь казалась мне в тот момент самым плохим выходом из положения. Не стал я, и оправдываться, взваливать ответственность за случившееся на Сталину.

Нину известие о моем предательстве и мое признание потрясли. Бедная, любимая моя, мой самый преданный и верный друг, сколько слез пролила она в бессонные ночи, как металась по городу, ища гибели под колесами машин. Она не могла поверить, что любовь наша, возникшая в суровых условиях лагеря, под окрики охраны и лай немецких овчарок, любовь, выдержавшая испытание трехлетней разлукой, ссылкой, насмешками и издевательствами, теперь, когда мы только начали по-человечески жить, так легко сломалась и была брошена к ногам бессовестной, как она считала, женщины. Ей так хотелось видеть меня в этой истории слабым безвольным, соблазненным хищной, не имеющей стыда и совести женщиной. Мои уверения, что Сталина здесь ни при чем, что во всем виноват я один, только усиливали её горе.

При мне она не кричала, не скандалила, не била посуду. Её горе было безмолвным и от этого не менее страшным. Вокруг её серых глаз, полных горя и слез, образовались темные круги, в уголках рта обозначились скорбные морщинки. Свое горе, свои переживания и слезы она изливала детям. Но, что они могли сделать. Валера как-то на лестничной площадке своего дома начал тяжелый для нас разговор, но снующие то вверх, то вниз люди не дали нам поговорить. Да и что мы могли сказать друг другу. Я оказался слабым человеком и плохим отцом, и не отрицал этого. Ему же, наверное, было стыдно за меня, но сказать мне об этом он не смог. Наташа, как я потом узнал, говорила со Сталиной, пытаясь объяснить ей, что я никогда не смогу уйти из семьи. Встречалась со Сталиной и Нина, но о чем они говорили, я не знаю. Знаю только, что все обошлось без крика и скандала, и был за это благодарен Нине.

Мои заверения, что я по-прежнему её люблю и из семьи уходить не собираюсь, успокоения не приносили. Душевная рана, которую я нанес Нине, долго не заживала. Она молчала, ушла в себя. Никаких упреков, никаких жалоб. Я старался быть внимательным, заботливым, всё свободное время проводить с семьей. Но

Нина не верила мне и была права. Я не мог освободиться от мыслей о Сталине, тем более что, решив остаться в семье, я предавал Сталину, и это мучило меня. Любовь к Сталине, ревность, желание её видеть, с ней говорить не покидали меня. В этих условиях, ни о каком успокоении и тем более примирении говорить не приходилось. Обстановка дома была тяжелой, почти невыносимой. Нина молчала и только вздрагивала при каждом телефонном звонке. Все с укором и невысказанным осуждением смотрели на меня. Ольга Федотовна тоже молчала. Но когда я случайно ловил на себе её взгляд, полный скорби и отчаяния, мне становилось не по себе.

Забвение искал в работе. Тем более, что её было невпроворот. Только в ней забывался от раздиравших меня чувств и переживаний. Но и здесь возникали проблемы. Чувствовал, что каждый мой выход из дома, каждый телефонный разговор, даже просто звонок рождает подозрения. А мне надо было ходить на работу присутствовать на многочисленных совещаниях, собраниях, многие из которых затягивались до позднего вечера.

Естественно, обо всём происходящем узнали мои сестры и, прежде всего, Ляля, к которой мы со Сталиной заходили в Ростове. Но она в то время об этом не написала ни Нине, ни Эрночке. Ей хотелось верить, что ничего серьезного в моих отношениях со Сталиной не было.

Первой прореагировала Эрночка. Вот её письмо к Нине от 5 декабря 1976 года.

Дорогая Ниночка!

Это известие убило меня. Не нахожу слов ни утешения, ни оправдания. Когда такое совершается на наших глазах другими, это просто противно.... Но здесь.... Кем? Робочкой, который всегда был для меня идеалом, идеальным отцом и мужем.... Ваша семья – отличная – ставилась мною всегда в пример многим. И такое.... Мне хочется скрыть от всех. Мне стыдно. Дорогая моя, как хотела бы я быть около тебя, среди вас в это страшное время. И почему ты молчала? Разве я уехала бы от вас? Я плачу украдкой, говорю всем и Пете, что ты и Роба тяжело больны. Я не сплю, у меня болит сердце и все думы о вас. Живу только одной надеждой, что это пройдет, что это временно, увлечение. А как он способен увлечься делом, мыслью, ты знаешь. Значит и женщиной. Но это пройдет. Утешение –

не знаю. Раны, нанесенные тебе и детям, и Ольге Федотовне, страшные, необратимые. Бедная Наташа! Особенно больно за неё.... Сможете ли вы простить ему это всё? Но ведь и его жаль. Понимаю, как и ты, родная моя, как ему тяжело!

Да я уверена, что не нужен он ей, что это очередная «победа». Одно имя её вызывает у меня отвращение. Еще жена какого-то начальника, богатая, по-видимому, шикарная.... Неужели он способен увлечься внешним блеском?! Может быть, я его не знаю,.... Ты знаешь, я совсем потеряла голову. Ниночка, милая, но, во всяком случае, не отчаивайся. Дети с тобой, никогда они тебя не оставят, особенно теперь. Ты им нужна, и маме твоей. Поэтому, крепись, дорогая, береги себя. Дети, хотя и взрослые, потеряли отца, мать им будет вдвое дороже. Отбрось страшные мысли, старайся выздороветь наперекор всему и всем. Как и что тебе делать, дорогая, если всё же развится катастрофа, я не знаю. Это ты и дети должны решать сами. Помни, что ты не одна. А это главное. Он же – один. Бедный, безумный брат мой!! Теперь не верю ни одному мужчине, ни в одного мужчину. Разве только в Гольди и Валеру.

Дорогая Ниночка, не переживай так страшно, успокойся, успокой Наташу. Жизнь такая сложная. Не допускай развиться ненависти к отцу, пусть она его жалеет. Он тоже несчастлив. Бедные, бедные вы мои.... Обнимаю вас всех, родные мои и страстно хочу, чтобы вам стало легче. Эрн

Юра, всегда столь нетерпимый к предательству, мое увлечение не осудил. Более того, успокаивал и даже посмеивался, уверяя, что это неизбежная участь любого здорового мужчины, что только фарисеи католики так болезненно как я относятся к мужской измене. Считал, что пока я не ушел из семьи, никакого предательства нет.

– Тебе хорошо со Сталиной, интересно? – спрашивал он, и, не дожидаясь ответа, продолжал, – если и ей интересно с тобой, а она говорит, что даже любит тебя, не понимаю только за что, то все в порядке. Однако сделай так, что бы об этом не знала Нина! Не заставляй её страдать. Всё отрицай, даже самые очевидные факты. Так ей будет легче, и скорее всего она тебе поверит.

Но именно этого сделать я не мог. Не мог опуститься до откровенной лжи.

Двадцать первого декабря 1976 года, в день моего рождения, я пришел на работу позже, чем обычно. На моем письменном столе лежал огромный букет алых роз и адресованное мне письмо, подписанное Сталиной. Не успел я придти в себя, как за моей спиной появилась Нина. Она молча швырнула букет на пол и стала его топтать. Обескураженный таким взрывом эмоций, я молча наблюдал за её истерикой. Потом она села и разрыдалась.

С трудом успокоив её, увез домой на такси. Вернулся в деканат через два часа. На полу все еще лежали истерзанные лепестки роз. Письма на столе не было. Его мне Нина вернула вечером. Это было прощальное письмо Сталины. Оно сохранилось до сих пор.

Пока что я в основном говорил о своих и Нининых чувствах и переживаниях. Пора предоставить слово Сталине. И здесь в моем распоряжении лишь её письма. Их довольно много, как и моих к ней. Мне кажется, что знакомство с ними лучше всяких моих слов и уверений, может убедить вас в том, что она не злодейка, а жертва обрушившихся на нас чувств.

Так как постороннему человеку неизвестно кому конкретно принадлежит имя Сталина, то считаю возможным привести здесь её прощальное письмо. Привожу с единственной целью оправдать её в ваших глазах, но отнюдь не для того, чтобы привести лестные для меня оценки.

Вот оно, это письмо, в котором я не изменил ни одного слова.

Роберт, родной мой, нам нужно расстаться. Что стоит написать мне эти строки, тебе, пожалуй, не понять до конца. Не представляю себе, как буду жить завтра, послезавтра и дальше. С первого дня, как узнала тебя, весь смысл моего существования заключался только и только в тебе. Я никого не хотела и не хочу видеть. Грустно признаваться, но даже мои дети ушли для меня на второй план. Первым был и есть ты, твои руки, глаза, твои милые складки в уголках губ. Я так тебя люблю всего. Для меня ты был и остаешься совершенством. Ты смеялся надо мною, когда я тебе об этом говорила. А ведь я не кривила душой. Совершенно невозможно описать, что я чувствовала, когда ты был со мной. Столько нежности, любви я никогда ни к кому не испытывала. И если бы богу было угодно соединить нас, знаю твердо, ты бы был счастлив. Я, оказыва-

ется, умею любить и умею быть благодарной за искреннюю любовь ко мне.

А теперь опишу побуждения, которые привели меня к этому шагу.

Во-первых (но это только по порядку «во-первых», а не по значимости), наши встречи Ниной Георгиевной. Она права во всем. Я выгляжу ужасно. Меня никто не оправдает.

Во-вторых, (а это пожалуй одна из главных причин), я Робочка милый вижу, как ты мечешься между нами. Ты и меня боишься обидеть, и там жалость сердце разрывает. Но ведь я кто для тебя? Любовница. А там, разве я не вижу, что жаль Н.Г.. Ты просто запутался. Я хочу тебе помочь. С твоим мягким характером не вынести такую ношу.

Ну и, в-третьих, я вижу и чувствую, что ты колеблешься, как быть дальше: не отсылаешь письмо в институт, почти перестал говорить об этом, стал со мною гораздо сдержаннее, скорее даже холоднее. Я не виню тебя, не сужу. Это на первый взгляд я такая шальная, такая несерьезная. Знаешь, я умею мыслить и глубже. Очень много думала обо всем, сопоставляла, взвешивала. Убеждала себя мысленно, что сделаю тебя счастливым. А сама вижу: не веришь ты мне, точнее не очень веришь. Поэтому тебя выбивают из колеи всякие сплетни. А еще пуще встречи с твоими коллегами, когда мы вдвоем.

Сейчас раздался телефонный звонок, я бросилась к телефону, а это не ты. Это страшно, это просто невыносимо, но скоро, вернее, с завтрашнего дня, мне ждать будет нечего. Как я буду бороться с собой, не знаю. Я уже сегодня заболела. Нет, у меня не повышенная температура, не астма и не нефрит. Все очень просто: отчаяние. Это ведь неизлечимо. Никто, ни один великий врач на земле мне не поможет. Да и не знаю точно, хотела бы именно сейчас вылечиться от этой тяжелой болезни.

Робушка, ты, наверное, хочешь знать, жалею ли я обо всем, что случилось со мной за этот год? И, да и нет, если быть честной до конца «Да» - потому, что ты развеял мои иллюзии о счастье. Я всегда тебе говорила, что была раньше счастлива. Нет, я не так выразилась, я просто считала, что у меня все есть для хорошего настроения. Теперь все не так, я разбита со своими канонами наголову. Это очень больно и

горько. А не жалею потому, что я все-таки узнала, что такое настоящая любовь, настоящая нежность. Я знаю теперь, что могу безрассудно, до беспамятства любить.

А еще я узнала тебя, прекраснейшего человека на земле. И я очень понимаю Н.Г. Тебя нельзя не любить. Для меня иное отношение к тебе невозможно так же, как невозможно не дышать. Тяжела для меня эта любовь. Всегда она была для меня трудной, почти не по силам. С первого дня по ночам умирала от страха потерять тебя. И сейчас не могу знать, переживу ли я все это. Одна женщина писала мне: «И чего только не может выдержать человеческое сердце?» Не знаю, выдержит ли оно.

Я очень много написала. Но не выразила и сотой доли того, что я чувствую.

Прости меня, родной мой, любимый. Я буду утешать себя мыслью, что сделала лучше для тебя, уйдя с твоей дороги.

Все !!! Ухожу!

Передай большой привет Юре. Здоровья ему. Когда ему сделают операцию, прошу тебя, позвони мне и скажи об исходе.

Я, конечно, как утопающий, еще цепляюсь за соломинку: а вдруг ты позвонишь и рассеешь все мои тревоги, вылечишь меня от страшного недуга. Но сделать ты это должен только в том случае, если не можешь без меня жить так же, как я без тебя. Из жалости этого делать нельзя, это будет просто бесчеловечно.

Целую тебя, мой родной, мой любимый, мой хороший, самый лучший человек на свете.

P.S. И если я тебе нужна, я опять, не задумываясь, брошусь в эту очень нелегкую для меня жизнь. Прости меня.

Целую.

Вас, конечно, интересует моя реакция на это письмо. Признаюсь, оно потрясло меня. Я понял, что мое чувство к Сталине, и моя нравственная несостоятельность заставили страдать не только Нину, хотя конечно их переживания несопоставимы. Не буду скрывать, я позвонил, и наши встречи, хотя и очень редкие, продолжались еще пару месяцев и закончились лишь с отъездом Сталины и её мужа в один из приморских городов Кубани.